

лав последний взмах косой на тангинских лугах, ушли сражаться к твердыне Сталинграда. Ушли — чтобы не вернуться: из всего взвода остался в живых лишь Кобяков. И он, уже став автором многих книг, последние свои силы положил на то, чтобы создать не просто до-

кументальный рассказ — но книгу о селе своей судьбы, о земле, которая послала его поколенье на подвиг, на Победу, именем которой зовется тангинский колхоз. Он создал книгу о земле, которая и сегодня рождает подвиги. Книгу о Хозяевах Земли.

СТ. ЗОЛОТЦЕВ

ИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ТВОИ...

О рассказах Геннадия Николаева

О рассказах Геннадия Николаева говорить нелегко. На первый взгляд, они и просты, и сюжетны, их можно пересказывать — главное условие простоты и сюжетности, но как только начинаешь их хотя бы мысленно пересказывать, понимаешь, что они не о том и что словами можно передать лишь малую и второстепенную часть их сути.

По внешней оболочке вообще, очевидно, нельзя судить ни о рассказе, ни о повести. Если перед нами подлинная литература, а не подобию ее, она по той дороге, по которой происходит видимое перемещение действия в рассказе, не груз повезет, а дух понесет, и это уж ее дело, ее забота и тайна, как, какими физическими или мистическими средствами она этого добьется. В природе художественного творчества противоречий, надо полагать, больше, чем мы привыкли их замечать. Одно из них заключается в том, что сюжетное, событийное движение, за которым читатель следит, казалось бы, прежде всего, а потому автор продумывает и выверяет тщательней всего, на деле, похоже, лишь отдаляет читателя от писателя. Читатель, следя за перемещением героев и переживая их судьбы, невольно вовлекается в определенную игру, условия которой ему известны заранее: представим себе, что так было. Эта условность действия и восприятия бывает заманчивой, бывает даже, что в мастерском исполнении она почти перестает быть условностью, полностью подчиняя себе наши чувства, и тем не менее опытный читатель не забывает: это только правила игры. И чем больше в литературном произведении

страстей, чем замысловатей сюжетные движения, тем сильнее отчуждение между автором и человеком, сидящим за книгой. Никто из нас не любит, чтобы нам диктовали условия, если мы договаривались только о правилах. А сближает их не самое действие, а та скрытая и невидимая сила, с помощью которой действие происходит и которая, как это и бывает в механике, направлена в обратную сторону. Литература так далека от механики, что кощунственным кажется делать подобные сравнения, и все же нечто похожее случается и в восприятии книги: герои уйдут и уедут, скрывшись из виду, и происшедшее с ними в конце концов забудется, но то, что произошло благодаря героям с читателем, внутренняя движущая сила их нравственного и духовного возбуждения останется в нем навсегда. На это, прежде всего, он и рассчитывает, беря в руки книгу, с ощущением меры этого он и закрывает ее.

О чем, к примеру, у Геннадия Николаева рассказ «По важному делу», если попытаться передать его содержание? Доярка Елена Кононыхина, женщина не первой молодости, у которой уже и сын служит в армии, забеременела после смерти мужа от похаживающего к ней фельдшера Николая Ивановича Полшкова, человека также немолодого, но еще крепкого, порядочного, уговаривающего Олену оформить их связь по закону. Не зная, как разрешить свои сомнения, Елена Кононыхина едет за поддержкой сначала в Москву к сестре, у которой живет мать, а затем к сыну под Ленинград. И там, и там ей советуют, не мудрствуя лукаво, сходить с хорошим человеком и родить от него ребенка.

А содержание ли это рассказа? В том-то и дело, что нет, что всего только оболочка,

«рубашка», в которой существует подлинное содержание. Оно — в меняющемся состоянии героини, в ее отношении к себе, к своему «интересному» положению и к людям: к Николаю Ивановичу, сестре, матери, сыну, а вместе с тем и ко всему миру. Содержание — в стыде ее, который она несет в себе как огромную и сладкую тяжесть, в ощущениях и неурочности и неуместности случившегося, и в то же время желанности его, в желанности всего, что вокруг нее происходит. Содержание — в противоречиях вовсе не противоречивого, казалось бы, свойства, которые тем и трудны, что не всякому понятны и не всякому подвластны и потому требуют обостренной чувствительности и тонкого пера. Главное содержание — в душе героини, в том, что нельзя передать не только словами, но нелегко и внять чувствами, что находится как бы вне известных нам органов восприятия и доносится лишь в счастливые мгновения душевного совпадения.

И это, надо полагать, основное содержание в литературе, когда есть то, что не поддается аналитическому взгляду и существует поверх, позадь или поглубь принятого за содержание текста. В нем, как это ни парадоксально может показаться, участвует и читатель: это «что-то» находится в пространстве свободном, не заполненном словом, оно подготовлено для принимающего чувства, но не названо и может быть услышано и оживлено, одухотворено в полную силу лишь чутким ухом.

И еще один рассказ хотелось бы привести в подтверждение этой мысли и попробовать сравнить внешнее и внутреннее.

Рассказ этот — «Чистые «хвосты». В нем директор крупного химкомбината Морохов, замотанный неубывающим рабочим напряжением, постоянным «надо» во что бы то ни стало и надорвавший ими сердце пожилой человек, чувствующий, что скоро, судя по всему, его отправят на пенсию, но привыкший и к силе своей, и к славе, в один из обычных нелегких дней, в который особенно накатили на него предчувствия и неприятности, садится в машину, назначает встречу молодой любовнице и едет с нею на лоно природы.

История не новая и, в сущности, банальная: бывало, есть и будет, писали и будут писать. И, конечно, ради этой истории в голом ее ви-

де Геннадий Николаев не стал бы затевать рассказ. И коли он его затеял, значит, рассчитывал, воспользовавшись известной схемой, сказать что-то свое — разумеется, не в оправдание или осуждение схемы, а во имя осмысленной жизни.

Мы и в литературе привыкли, к сожалению, все раскладывать по полочкам: это хорошо в действиях героев, а это плохо, это нужно и важно, а это не нужно и не важно. У нас во всех обстоятельствах должны быть правые и виноватые, на кого можно было бы равняться и с кого можно спрашивать если не судом закона, то, по крайней мере, нравственным судом. А если виноватых нет? То есть, в сущности, они есть, следствия без причины не бывает, но истоки вины уходят так далеко, что проследить их во всей полноте в небольшом литературном произведении не представляется возможным, и даже при всей широте суда нравственного (Шатов в «Бесах» у Достоевского: «Все виноваты, все виноваты... и если бы в этом все убедились») применение сго должно быть осторожным. Тут уже вступает в силу сама жизнь, непомерная ее сложность, не поддающаяся никакой раскадровке, и стихийная выверенность, расставляющая, вопреки нашим суждениям, все по своим собственным местам, и конечная обреченность человека, тут предчувствие, подсознание, интуиция, издонные, изначальные ощущения оказываются важнее действия и его результата.

Словно бы ни с чего, без всякой серьезной причины взмывается и начинает болеть у Морохова душа. И любовница, и завод, и хлопоты дня — это все мирское, мелкое, обладающее немалой властью временного и мирского, чем всю жизнь занимался герой, но на этот раз он вдруг почувствовал в себе требовательное присутствие чего-то иного, чего-то из другого порядка мировосприятия. Оно как бы находилось в нем всегда, но до поры не хотело обнаружить себя. Или это он, с утра до ночи занятый важными, как ему представлялось, государственными делами, не находил времени прислушаться к своему ненавязчивому спутнику. Так или иначе встреча между ними наконец состоялась. Состоялась встреча его с самим собой — с тем, что вложено в него было от рождения вместе с сердцем и, как

сердце же, необходимое для существования, — и надолго отверженное в избранном существовании. «Та далекая жизнь, словно не его, а вычитанная в книжке или увиденная в кино, стояла перед ним — яркая, сочная, манящая. И чем больше он вспоминал, тем острее щемило сердце и горячее накаtywало на глаза. Как на некоем чудесном экране, он увидел себя теперешнего, лежащего на поляне у затончика, и тогдашнего, сидящего на краю обрыва, свесившего босые ноги и глядящего в синюю даль реки. И словно бы не было никакой другой жизни между этими двумя днями. Словно тот кудлатый и плечистый Ванятка по злому колдовскому наговору в один миг превратился в грузного, измученного мужика. «Как же так? Как же так?» — бессвязно думал он, сам не зная, что значит это самое «Как же так?» Он и недоумевал, куда же девалась вся оставшаяся жизнь. Он и поражался тому, что был когда-то по-настоящему счастлив — свободен и счастлив. Он и горевал о жизни, многих-многих днях жизни, которые промелькнули, как зубцы стремительно вращающейся шестеренки».

Смутно и слабо, без определенности и громкоголосия, к которым он привык, но доносится все-таки до Морохова истина о себе — о неверности его себе, об измене изначально заложенному в нем человеку. И слово «свобода» появляется здесь не случайно. Да, был когда-то в молодые годы свободен и счастлив, потому что был естествен и прост в жизни, следовал ей и в то время еще наследовал качества, данные человеку для целей какого-то общего следования и совершенствования. Но из двух осмысленных философией путей человека — свободы и необходимости — вместе со многими он избрал наиболее легкий: путь необходимости. И жил под неизменно подстегающее «надо, надо, надо!». «Но что поделаешь! — пускал комбинат, цех за цехом, корпус за корпусом, все пять лет». И до того такая же погоняловка, и после того. С женой — «...бывало, месяцами виделись только мельком, утром за завтраком да поздно ночью, если жена случайно просыпалась от скрипа кровати под его грузным телом, когда он валился почти бездыханный от усталости». Он был кем или чем угодно — функцией,

ролью, шестеренкой, но не самим собой, и, считая себя человеком всемогущим, ворочающим огромной людской и технической силой, в сущности, давно превратился в раба. Со времен древности раб сильно преобразился, рабство стало понятием внутреннего закрепощения, синонимом неразборчивости и неодолимости, полной подчиненности влияющим обстоятельствам. Рабство в наш век — это механическое исполнение жизни, когда торопливыми, необязательными и неестественными становятся все связи человека — с семьей, с рабочим окружением, с самим собой, с природой. И то, что должно бы расширять возможности человека, напротив, ограничило их до безличностного состояния.

Безрадостным (еще не окончательным) было прозрение Морохова: все, не оплаченное душой или оплаченное небрежно, предъявляет тяжелый счет. Оправдательное «что поделаешь?!», ходкое в житейских отговорках, получает на этот раз полный смысл: ничего не поделаешь, от подобного прозрения человеку никуда не уйти, не бывать тому, чтобы закончил он дни и труды свои без правды о себе, которую скажет себе он сам, которую скажет ему его исполненное или неисполненное родовое назначение.

Редко случается, чтобы «кривая» вывозила на правильную дорогу.

Сродни директору комбината Морохову главный снабженец крупного московского завода Максим Тимофеевич Кочегуров (рассказ «Краники»). Это одного поля ягода — поля, возвращенного научно-технической революцией. Оба они вышли когда-то из деревни, оба вспоминают о ней не только с теплотой, свойственной всем, кто обращается к поре молодости, но и с каким-то особенным откровением и озарением. Оба не чувствуют теперь опоры ни в семье, ни в работе, ни в друзьях, оба одиноки и заглядывают в свою душу только тогда, когда их пути на выходе из жизни сужаются до непривычной стесненности. У того и другого отказывает сердце: сказалась преждевременная изношенность его механическим образом жизни, для которого надежней был бы воспетый «вместо сердца пламенный мотор». Правилom и законом действия для обоих было: «Надо! Срочно! Давай!».

«Надо» двигало им всю жизнь, и он не задумывался над тем, действительно ли надо то, что он добывал, — таких вопросов у него не возникало, ему говорили «надо», и он соображал сразу практически: как, где, через кого, каким образом, — лишь бы выполнить поручение, добыть, обеспечить».

Это о Кочегурове. То же самое можно сказать о Морохове. Оба они считают себя людьми дела, ради дела готовы на все, и оба, как и должно быть, извращены в своей человеческой сути и опустошены им до предела. У Кочегурова, ушедшего в служебном рвении поперед Морохова, это опустошение доходит, кажется, до конечного результата: вместе с ящиком неимоверными усилиями добытых краников для хитмисосов его с инфарктом увозят на «скорой помощи» в больницу.

Жаль их? Конечно. С недоумением, что же это было, ради чего они надрывались, они так и уйдут из жизни. Из каждого из них состоял специалист, но не человек. Человеческим в себе они пренебрегли: легче делать потуги физические, нежели духовные. Радости, доставляемые иногда нашим героям физической жизнью, и есть, фигурально выражаясь, те самые «хвосты», отходы промышленного производства, чистотой которых докучают Морохову: живительными им не быть.

Так что же — судить этих людей за их человеческую несостоятельность доступным нам нравственным судом или не судить? Автор не судит. Для него важнее показать эту несостоятельность, показать их растерянность перед тем очевидным фактом, что жизнь, в самую гущу которой они себя помещали и без своего энергичного вмешательства поступательно-го хода которой не представляли, шла, оказывается, отдельно от них и вовсе не благодаря им.

Автор не судит их, предоставляя это право читателю, зная хорошо, что заблуждение его героев, если можно назвать подобное инженерное переустройство человека заблуждением, носило характер массового подвижнического движения и было благообосновано. Но нравственной ответственности автор с них не снимает — ответственности прежде всего за себя, за обеспечение своего человеческого состава, который не есть физическая плоть. В

физической плоти под видом человека может быть, как мы знаем, и зверь, и бездушное орудие, и что угодно; человеческий состав подразумевает, очевидно, высокое и свободное сознание, делающее человека личностью. Личность — не сильный характер, подобный Морохову, а самостоятельный дух. О нем обязан заботиться сам человек, никто больше ему в том не помощник, и в этом смысле забвение самого себя — не благодеяние, а преступление перед всем тем множеством мира, которое сделало тебя человеком и возлагало на тебя добродетельные надежды.

Не всякий материал дает основания для подобных размышлений. Тем более что в рассказах Геннадия Николаева нет прямого выхода и подталкивания к ним, в рассказах словно бы свои скромные задачи, не претендующие на широкие обобщения. Но суть этих скромных и локальных задач такова, что они, обладая энергией возбуждения, сами собой приводят к раздумьям отнюдь не малого и не шуточного характера, связанным с положением и ролью человека в жизни.

В рассказе «Танька» уже не конечная, а едва ли не первая серьезная растерянность перед жизнью, перед ее могучим и загадочным потоком. Танька Стрыгина, молодая работница мясокомбината, выходит замуж за неплохого, может быть, но совсем не любимого ею человека, выходит вопреки своей воле и чувствам. Ну, подталкивали к тому родители, но не настолько, чтобы нельзя было настоять на своем. Ну, не состоялась любовь с Колей Лутошкиным, о которой Танька втайне мечтала, но это была не та любовь и не то чувство, без которых хоть головой в прорубь, а не только за первого попавшегося. И тем не менее весь круг обстоятельств, вся невольная сложившаяся обстановка, словно бы общая предопределенность роковым образом принуждают Таньку, девушку к тому же с характером и чувством собственного достоинства, к неприятному ей шагу. Не получилось: «человек своей судьбы хозяин», судьба оказалась сильнее человека. Рассказ, разумеется, не о том, чтобы человек мирился с обстоятельствами и не сопротивлялся судьбе, раз и навсегда предопределенной ему сторонними силами. И не о том, что «смирится — слюбится». Ни к чему он не призы-

вает, ни от чего прямо не предостерегает. Он, вероятней всего, о трудном пути человека в жизни, о неравных и непредсказуемых отношениях его с миром, к которому нельзя, как принято еще у нас, подходить с общим аршином и общими требованиями: я пришел — изволь сделать меня счастливым. Несчастье человека не только во внешних жизненных неудачах, но прежде того еще — в отсутствии духовного материала для заслуженного житием счастья — того материала, который, к сожалению, нередко бывает вытравлен в нас грубым и чересчур определенным воспитанием, не допускающим идеалистических ростков.

И об этом заставляют серьезно задуматься рассказы Г. Николаева. Достоинство человека не в том, как поставить себя в жизни, а глубже — как послужить жизни, общей и извечной ее гуманной направленности, вопреки иной раз принятым правилам.

В конечном итоге, как правило, рассказы Г. Николаева — о призвании человека. Не о профессиональном призвании, а приподнимая слово, — о призванности его быть человеком, чувствовать в себе добротворное назначение.

От гордыни до рабства огромные просторы, в которых человек с успехом может его исполнять. И границы эти совсем рядом сходятся в нас, когда мы не даем себе труда понять, что хорошо и что плохо вокруг нас, когда наша духовная и нравственная неразборчивость, бывая деятельной и даже воинствующей, приводит к перерождению в нас человека из закономерности в случайность.

Страшная это, наверное, вещь: понять на склоне лет, от себя же, молчаливо наблюдавшего за собой долгие годы, услышать однажды, что, ненароком отклонившись когда-то от заданного тебе направления, казалось бы, совсем незначительно, огромные усилия ты затратил на то, чтобы уйти в сторону.

Лучшие рассказы Геннадия Николаева, о которых шла здесь речь (к ним можно отнести еще и рассказ «Лесная подстанция»), для того, можно предполагать, и написаны, тем и одушевлены, чтобы с тревогой и участием еще раз напомнить: сложны и таинственны, но исповедимы пути твои, человек, — и пути твои только во имя твое!

И общие эти понятия в рассказах имеют личную направленность и заинтересованность, ощущение твоей личной судьбы.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
